

Ивэр Нойманн

РОССИЯ КАК ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА: 1815–2007¹

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с первых контактов Московского царства со Священной Римской империей, во время быстрого роста связей при правлении Петра Великого и после него и, наконец, в советский период, Россия стремилась к тому, чтобы ведущие европейские державы признали ее в качестве равной². Это стремление играло важную роль в российской политике идентичности. Русский национализм исторически сформировался вокруг этой проблемы. Когда в начале 1990-х ведущие политики писали статьи о том, что они не хотят жить в «банановой республике», и когда российские и европейские политики приводят различные данные, свидетельствующие о том, что Россия относится к числу малых держав, за всем этим стоит невысказанная идея, что Россия не может быть малой державой. Россия должна быть великой державой или ее не будет. Такова эксплицитная самореферентная аксиома российской политики идентичности, и она была таковой на протяжении очень долгого времени. Цитируя слова российского министра иностранных дел Александра Извольского, сказанные им сто лет тому назад: «Преобразование во второразрядную державу и азиатское государство было бы для России чудовищной катастрофой» (Lieven 1983: 6).

Постоянное и зримое присутствие этой темы в российской политике идентичности означает, что стремление России к признанию в качестве великой державы не увенчалось успехом. Дело в том, что, если притязания на идентичность оказываются успешными, они составляют лишь часть горизонта политических дебатов, но не все их содержание. Признать Россию великой державой могут только другие великие державы, чей статус не вызывает сомнений. Исторически ими были европейские государства,

1 Iver B. Neumann, 'Russia as a great power, 1815–2007', *Journal of International Relations and Development*, 2008, vol. 11, no. 2, pp. 128–151.

2 Более ранний период рассмотрен мною в статье: Neumann 2007.

расположенные к западу от России. Поэтому, если мы хотим объяснить чувство непризнанности России, нам нужно объяснить, в чем состоят критерии великодержавности, а затем рассмотреть, чего именно недоставало России. Решающее значение здесь должны иметь представления современных великих держав о российском государственном строительстве.

Великодержавный дискурс задавался школой мысли, которая подчеркивала важность ресурсов материальной силы и способность использовать свою силу, в особенности военную. Проблема этого так называемого реалистического подхода состоит в том, что в 1815–1848 годах и, возможно, также в 1957–1991 годах Россия удовлетворяла критериям, указанным реалистами, но полноценного формального и неформального признания так и не получила. Это означает, что реалистический подход оказался неспособным выделить все необходимые для признания условия. Исторически существовало еще одно, конкурирующее объяснение величия, которое делало акцент на моральном величии. В соответствии с ним, Россия не отвечала требованиям моральной цели, разделяемой существующими великими державами. Проблема этого подхода состоит в том, что будучи эксплицитно моральным объяснением, оно разворачивается в довольно отвлекенной сфере идей в политической области. Область действия этого объяснения ограничивается одной только сферой идей. Это слишком узкое объяснение проблемы, затрагивающее лишь одну из граней политического. Прежде всего я рассмотрю классическое изложение этих двух позиций в социальной истории. Затем я покажу, что мы можем выработать третье и лучшее объяснение проблемы признания России, рассмотрев ее с точки зрения управления. Подобно реалистическому подходу, этот подход учитывает материальность дискурса, упускаемую в моральном подходе, и, подобно моральному подходу, этот подход основывается на интересубъективности признания, факторе, который упускается в реалистическом подходе. В основной части статьи я применю эти три подхода к существующей литературе, чтобы показать, что объяснение, которое делает особый акцент на управлении, позволяет нам лучше понять проблему непризнанности России. В заключении будут сделаны некоторые выводы.

ДВА ПОДХОДА К РАССМОТРЕНИЮ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Категоризация — это необходимая и динамичная составляющая совершенства действий. Если последователи Дюркгейма правы, что высокое / низкое и большое / малое представляют собой средства организации социальной реальности вместе со временем, пространством, причиной и следствием, то всякая социальная система, включая государственную систему, будет и должна иметь определенную категоризацию того, что в нее входит, в соответствии с этими принципами. (Категоризация равенства подтверждает это правило, будучи способом категоризации того, что его открыто отрицает.) Начиная с ее утверждения в качестве научной дисциплины, теорию между-

народных отношений раздирали споры о практической и аналитической значимости соответствия определенных держав статусу великих. Этим спорам предшествовали соответствующие споры в рамках международного права и истории.

В своей главной работе непосредственный предшественник реалистов в области международных отношений Макс Вебер предложил следующее определение великой державы: «В настоящее время политические образования, которые являются носителями силы и престижа, принято называть „великими державами“» (Weber 1991: 161). Решающее значение имеет престиж — *Machtprestige*. Согласно Веберу, он не является чем-то специфическим для системы государств, а скорее представляет собой общий «иррациональный элемент», за который борется каждое государство. Как минимум, для того, чтобы быть великой державой, держава должна считать себя великой, имеющей историческую миссию. В системе государств, как утверждает Вебер, великодержавность имеет относительный характер: она означает «уважение к державе со стороны других общностей» (Weber 1991: 160).

Для Вебера, как и для Ваттеля и Ранке до него, престиж явно связан с военными и экономическими факторами. Сравнительное превосходство в силе и взаимно признанные сферы влияния, которые являются неотъемлемыми чертами великих держав, можно считать тем, что мы бы сегодня назвали структурными особенностями системы государств. Но в несколько ином контексте Вебер также отмечал, что «между престижем культуры и престижем силы существует тесная взаимосвязь» (Weber 1991: 448, п6). Это очень важно, потому что в этом случае сравнение и критерии, по которым оно производится, носят отчетливо интерсубъективный характер. Их значение зависит от результатов обсуждения между двумя или несколькими действующими силами. Считать, что великая держава интерсубъективно конституируется участниками системы, — это совсем не то же, что считать, что она структурно конституируется системой государств. Поскольку употребление словосочетания «великая держава» у Вебера внешне согласовывалось с тем смыслом, который вкладывался в него в первые десятилетия XX века, это обстоятельство осталось тогда незамеченным.

В курсе лекций о государстве, прочитанном им в 1913 году, а полностью опубликованном лишь в 1950 году, другой ключевой социолог XX века — Эмиль Дюркгейм — также изложил свой взгляд на великие державы (Dürkheim 1950/1992). Дюркгейм считал, что современное государство выросло из небольшого костяка, которым исторически служили король и его советники. С одной стороны, есть государство, а с другой — общество, которое в конечном итоге начинает править: «Государство — ничто, если оно не является органом, отличным от остального общества. Если государство везде, то оно нигде. Государство возникает в результате процесса концентрации, отделяющего определенную группу людей от общей массы» (1950/1992: 82). В начале, утверждал Дюркгейм, государство не имеет никаких связей с обществом: «Оно является прежде всего органом внешних сношений, приобретения территорий и дипломатии» (1950/1992: 85). Но по мере развития

государства его связь с обществом становится более тесной, а само оно становится все более демократическим. Дюркгейм описывает это как органический процесс, в ходе которого голова превращается во все более сложную кибернетическую систему, управляющую своим социальным телом³. Он утверждает, что этот процесс, характерный для современного государства, начался в XVII веке. В этом случае у нас имеется четкий критерий для определения того, какие государства являются «великими», а какие — нет. Опираясь на понятие гордости, которое внешне схоже с понятием престижа у Вебера, Дюркгейм утверждает:

Пока существуют государства, будет существовать и национальная гордость, и в этом можно даже не сомневаться. Но общества могут иметь чувство гордости, не будучи при этом особенно великими или богатыми, но будучи справедливыми, наилучшим образом устроенными и наиболее нравственными (Durkheim 1950/1992: 75).

Там, где Вебер признает важность культурных факторов, но в конечном итоге считает их факторами, окружающими силу, Дюркгейм производит моральное сравнение государств, осуждая «определенные демократии», которые не понимают, что государство должно взять на себя инициативу в экономике, и отдают эту важную сферу социальной жизни на откуп рынку. Поскольку демократия для Дюркгейма является признаком зрелости и поскольку его критика явно направлена против Британии (и, соответственно, Соединенных Штатов), парадигматической великой державой оказывается родная для него Франция (1950/1992: 86–94). Главное, что государства могут быть или не быть великими в моральном смысле. Отметим, однако, что Дюркгейм делает интригующий намек, что правление (тип режима и эффективность) составляет ключевой фактор великодержавия.

В социальной теории существует расхождение в подходах к осмыслению великих держав⁴. Вопрос: что такое великие державы? Ответ: (1) они просто больше (*greater*) с точки зрения относительных ресурсов, которые могут использовать при взаимодействии с другими государствами; (2) они престижны в силу некоего морального превосходства.

Откуда берется этот престиж? И в литературе о международных отношениях, и в социальной теории проводится различие между количеством и качеством. Престиж — это нечто большее, нежели превосходящая сила, и он имеет отношение к морали, то есть социальным практикам, которые конституируют данное политическое образование, и их моральной оценке.

3 Изложение того, как они развиваются в более узких рамках дисциплины под названием «международные отношения», см.: Neumann 2007.

4 Государство — это «мозг, который отвечает за поддержание взаимосвязей; но внутренние функции, функции вегетативной жизни или того, что им соответствует, не подчиняются регулированию. Представим, что произошло бы с функциями сердца, легких, желудка и так далее, если бы они были полностью свободны... Такую картину можно наблюдать в странах, где нет никаких регулирующих органов экономической жизни» (Durkheim 1950/1992: 30).

Понятием, которое употреблялось применительно к этому феномену в европейской традиции последних двух столетий, является цивилизация. В литературе о международных отношениях цивилизация была объектом пристального внимания тех, кто занимался рассмотрением вопроса о существовании формальных стандартов цивилизованности в международном праве (напр.: Gong 1984). В социальной теории она была предметом исторической философии (напр.: Элиас 2001). Но у нас почти нет каких-либо теоретических соображений о связи цивилизации с престижем великой державы. В то же время по этому вопросу существует обширная литература, хотя и под иной рубрикой, а именно — посвященная типу режима. Начиная с самых первых российско-европейских контактов, система правления в России воспринималась как деспотическая (Neumann 1997: 65–86; Pое 2000). В XIX–XX веках ее считали авторитарной или даже тоталитарной (Gleason 1951; Groh 1961). Одновременно с дискурсом о великих державах — я имею в виду как риторику самих государств, так и анализ этой риторики исследователями — существует богатый и последовательный дискурс о ключевом политическом вопросе выстраивания Россией отношений с другими странами. Исходя из представления о том, что внешнее и внутреннее образуют две различные области политики, эти два дискурса, по-видимому, не были связаны между собой. Но я бы сказал, что дискурс великих держав входит в более широкий дискурс о типе режима. Из-за используемых аналитических разграничений мы не замечаем того, что сама риторика государств касается не только общих вопросов деспотизма и цивилизации, но и частного вопроса о типе режима. Примеры этого будут приведены мною ниже. Мы имеем здесь основополагающий фактор, который позволяет объяснить неразъясненные аспекты великодержавия, описанные реалистическим и моральным подходами. Держава может считаться великой, если способ управления в ней признается образцовым другими.

Говоря о великих державах, Дюркгейм действительно поднимает вопросы правления и управления, но большого внимания им не уделяет. В то же время он утверждает, что величия можно достичь, просто становясь образцом, то есть предпринимая шаги, имеющие чисто идеационный характер. Я с этим не согласен. Как показывает пример современной Швеции, можно вполне разделять моральную цель системы, но при этом не быть великой державой этой системы⁵. Такая держава также должна иметь материальные ресурсы для приобщения других к своей системе правления. Но после того, как эта задача будет выполнена, более совершенная система управления может оказаться важнее превосходства в ресурсах. Взять, к примеру, последние столетия Восточной Римской или Византийской империи. Ойкономидес (Oikonomides 1992: 74) утверждает, что наиболее поразительной чертой ее внешней политики было то, что

в XIV, а также XIII веках, несмотря на все свое ослабление, Византия действовала так, словно она, как и прежде, была великой державой.

5 Те же позиции и те же расхождения встречаются также и в литературе о международных отношениях; ср.: Neumann 2007.

Более того — и это еще интереснее — другие державы, по-видимому, не обращали на реальность никакого внимания и наделяли византийского правителя особым статусом: он считался императором *par excellence*, главой государства, которое само по себе служило основной базисной точкой европейской политики на протяжении предыдущих столетий.

Внимания на реальность здесь не обращает как раз Ойкомонидес, а не государства, окружавшие Византийскую империю. Правовыми системами, которые конституировали их и укрепляли их способность править, они были обязаны византийцам⁶. Пользуясь метафорическим языком того времени, Византия была отеческим домом, а государственные домохозяйства (или, по-гречески, экономики) других государств были сыновними или — реже — братскими домами. Сыновья относились к своему отцу с почтением, даже когда он впадал в старческое слабоумие⁷.

Процесс, в ходе которого европейская система государств распространилась по всему миру, не вполне ясен. Начиная с Турции и России, европейские правители сталкивались с державами, которые заявляли о своем собственном превосходстве или равенстве с ними и имели иные структуры управления. Такие притязания наталкивались на европейскую систему классификации этих других государств, которая основывалась прежде всего на их системе правления. Только те народы, политическая система которых больше всего напоминала европейскую, признавались цивилизованными. Народы с другими масштабными системами считались варварскими, а народы, которые не имели или почти не имели специфически политических институтов, — дикими. Как писал Хосе де Акоста в 1590 году в книге о Новом Свете, «доказано, что варварские народы больше всего выказывают свое варварство в своем правительстве и способе правления, ибо чем ближе люди подходят к разуму, тем более человечным и менее заносчивым является их правительство» (цит. по: Bowden, forthcoming). Эта тема получила свое наиболее подробное теоретическое обоснование у Гегеля, и к XIX веку она прочно закрепилась в международном праве. Например, Уэстлейк подробно пишет об этом в работе под названием «Правительство — международное мерило цивилизации» (Westlake 1914: 143).

На мой взгляд, идея Мишеля Фуко, что рациональность правительства в Европе изменилась после появления в XVI веке общества (нового типа), особенно полезна для определения того, откуда взялось это «мерило цивилизации» и какое влияние оно оказало на ранжирование политических держав. По Фуко, появление общества как не непосредственно прозрачного

6 В этом отношении весьма показательным названием книги, написанной по заказу шведского государства, — «От великой державы к государству всеобщего благосостояния: 300 лет шведского развития» (Samuelsson 1968).

7 Править, но не управлять; я использую здесь «управительность» применительно к рациональности, которая характеризует специфически современные формы политического правления и управления. Византийцы не имели средств, которые позволяли издали управлять множеством различных аспектов жизни индивидов. См.: Фуко 2005: 183–211.

слоя, возникающего между сувереном и его подданными, в конечном счете привело западноевропейские государства к дополнению прямого правления косвенным. Дискурсивной предпосылкой такого шага служил переход от представления о подданных как о части домохозяйства, возглавляемого сувереном, к представлению о них как о частично самоорганизованной производительной группе. Материальной предпосылкой подобного изменения служит способность государства привлекать для этого достаточные и разнообразные ресурсы. Фуко считает появление либерализма и его императива, в соответствии с которым государство должно всегда думать о том, как ему править меньше (то есть менее прямо), историческим ответом на появление общества. Отметим, что меньшее управление означает всего лишь менее прямое управление; на самом деле за прошедшие два столетия либеральные государства заметно увеличили свой государственный аппарат и расширили арсенал своих инструментов управления.

Косвенное правление государства основывается на внушении населению некоего чувства ответственности за свои жизни, чтобы оно могло само управлять собой (в соответствии с указаниями, неявно изложенными в дискурсе). Фуко называет такое «руководство поведением» управительностью. Чтобы понять смысл и значение «управительности» как формы власти, полезно сравнить ее с суверенитетом. Фуко выделяет исторически значимую трансформацию, начавшуюся с XVI столетия, в том, что он называет «искусством государственного управления», которое образовало практику, обособленную и частично автономную от принципа и практики суверенитета (Фуко 2005). Фуко пишет: «Какой, в сущности, может быть цель управления? Определенно не управление само по себе, но улучшение жизни народов, увеличение их благосостояния, продолжительности жизни, совершенствование здравоохранения» (Фуко 2005: 203). Таким образом, по Фуко, правительство определяется в терминах «управления поведением», включая целый спектр методов и практик, исполняемых различными участниками, нацеленных на формирование, направление и руководство поведением индивидов и групп (Фуко 2005: 204–205, 316). Главные элементы управления как формы власти схвачены в следующем разграничении между работой суверенитета и работой правительства:

То, что, по существу, позволяло суверенитету достичь его цели, т. е. вызвать подчинение закону, есть сам закон; таким образом, закон и суверенитет сливались воедино. И напротив, в данном случае речь идет не о том, чтобы навязать закон людям, но о том, чтобы расставить вещи, иными словами, об использовании не столько законов, сколько тактик, или, в предельном случае, об использовании максимума законов в качестве тактик; необходимо действовать так, чтобы при использовании известного количества средств достичь той или иной цели (Фуко 2005: 196).

Идеи «расстановки вещей» и «использования тактик» — важная черта управления как формы власти. В отличие от суверенитета и дисциплины, которые составляют два других ключевых способа власти, правительство рас-

смачивает свободу и деятельность тех, кем оно управляет, целью и средством управления.

С введением самодержавия право суверенитета на то, чтобы править, трансцендентно основывалось на мандате от самого Бога. Осуществление власти принимало форму двух типов практики: первая — *raison d'état* (или *prudencia mixta*, см.: Oestreich 1982: 48) и вторая — то, что по-французски и английски называлось полицией, а по-немецки — *Policey* (позднее — *Polizei*)⁸. Слово полиция обычно применялось к разного рода законоположениям, создававшимся различными центрами власти в эпоху раннего Нового времени:

Оно отсылало к управлению в самом широком смысле слова, то есть к институциональным средствам и процедурам, необходимым для обеспечения мирного и спокойного существования для населения земли (то есть территории). Слово полиция в этом смысле, явно восходящем к полису, первоначально использовалось в Бургундии (отсюда германское звучание *policie* и *policey*) в XV веке, откуда оно перекочевало в канцелярии Габсбургов (Raeff 1983: 5).

Впервые оно было использовано по-немецки в Вюрцбурге в 1476 году, но наиболее часто стало употребляться в период религиозных войн XVI века (Oestreich 1982: 155–165). Суверен стал сувереном, среди прочего, потому что ему постепенно удалось получить исключительные права на создание подобных законоположений. Смысл понятия полиции изменился, и оно стало общим и современным описанием идеального порядка, основанного на интересах государства. «Понятие „полиции“ скрывало власть, которую правитель присваивал себе, чтобы издавать указы и вводить запреты. Новая структура управления и подчинения способствовала дальнейшему распаду феодального общества» (Oestreich 1982: 157). Заявленной целью полиции был охват как можно большего числа аспектов человеческой жизни в том, что стало называться *der wohlgeordnete Polizeistaat* — упорядоченным полицейским государством. Фуко говорит, что вопрос о хорошей полиции касался всей Европы, а не только отдельных государств:

Поддержание баланса и равновесия в Европе возможно лишь постольку, поскольку каждое государство имеет хорошую полицию, которая позволяет ему развивать свои собственные силы... Существование государства с плохой полицией, даже чужого, в конечном итоге, представляет угрозу для европейского равновесия. Поэтому нужно следить, чтобы хорошая полиция была и в других государствах. Европейское равновесие начинает функционировать как своеобразная межгосударственная полиция или право. Европейское равновесие дает ряду государств

8 Хотя этот пример имеет не слишком большую аналитическую ценность, он все же важен, потому что без Византии как живого примера сложившиеся формы взаимодействия рухнули, и соседи Византии в скором времени утратили правовые структуры, заимствованные ими у Византии. Система, которую образовывали эти государства, испарилась, и основания, по которым государства, составляющие ее, могли быть ранжированы по отношению друг к другу, испарились вместе с ней.

право следить за тем, чтобы в каждом государстве была хорошая полиция (Foucault 2007: 314–315).

Новая рациональность управления, которую Фуко называет управительностью, с самого начала представляла проблему для России. Во-первых, это была рациональность, отличная от той, что наполняла суверенитет, и потому представляла потенциальную угрозу. Во-вторых, необходимым условием использования этой рациональности государством была его способность опираться на большой объем разнообразных ресурсов. Российское государство, система правления которого была менее эффективной и действенной в сравнении с европейскими государствами XVII–XVIII веков, находилось в относительно неблагоприятном положении. В результате сдвиг в сторону всепроникающей «полиции» в России оказался неэффективным. Во Франции, Британии, Нидерландах, Швеции и Дании и – позднее и зачастую в более слабых формах – во Франции, германских государствах и, в сущности, во всех государствах к Западу от России происходил переход к косвенному правлению. Учитывая, что тип режима служит основным критерием при оценке степени соответствия определенного государства требованиям цивилизации, возрастание разрыва между Россией и великими державами имело ключевое значение для оценки последними первой вообще и притязаний России на статус великой державой в частности.

Множество историков рассматривали эти расхождения под различными углами, вроде отсутствия в России либеральной традиции и провала российских реформ. Я же хочу перенести эти идеи в область, где они раньше отсутствовали, а именно в споры в области международных отношений о положении России как великой державы. Моя гипотеза состоит в том, что отсутствие в России социальной силы для приятия этих структур управления может объяснить проблемы, связанные с непризнанием ее в качестве великой державы. Подходы Вебера и Дюркгейма помогают нам приблизиться к пониманию этого, но изложенный здесь подход с точки зрения управительности позволяет продвинуться еще дальше. Сопоставим реалистический, моральный и управительный подходы к великодержавию с примерами европейских оценок России как великой державы за последние двести лет, чтобы увидеть, какой из подходов способен дать нам лучшее понимание проблемы.

ОЦЕНКА РОССИИ ЕВРОПЕЙЦАМИ

В соответствии с реалистическими критериями Вебера – материальные ресурсы и способность применять силу, – к концу XVIII века Россия, несомненно, была великой державой. Точно так же, в соответствии с моральными критериями Дюркгейма, – образец того, каким должно быть государство в мире, – социализация в систему государств, по-видимому, была достаточно сильной, чтобы признать Россию великой державой⁹. Она оставалась христианской

9 На самом деле эти два понятия были тогда, скорее, взаимозаменяемыми. Работа Джованни Ботеро *Della ragion di stato* (1589) была переведена на немецкий семь лет

страной, принцип легитимности в ней был тем же, что и в других державах, и распространены были браки с представителями других династий. Но как же тогда объяснить постоянные сетования европейцев на отсутствие в России цивилизации и сохраняющиеся сомнения насчет того, насколько ее можно считать частью Европы. Ибо Россия все еще не отвечала в достаточной степени требованиям цивилизации. Например, жалобу Давида Юма, что «две самые цивилизованные нации, англичане и французы, обречены на упадок; а варварам, готам и вандалам из Германии и России, суждено обрести власть и славу» (цит. по: Ногн 1945: 18–19). Варианты этой жалобы встречаются также в другом виде и в других областях. В 1804 году французский посол Эдувиль жаловался министру иностранных дел Талейрану, что «при любом другом иностранном дворе дипломатический корпус куда лучше осведомлен о политических намерениях и делах, чем здесь» (цит. по: Grimsted 1969: 19).

Обращение к проблеме управления позволяет нам прояснить два фактора. Во-первых, как полицейское государство, Россия считалась менее успешной, чем остальные¹⁰. Способность к осуществлению государственной власти была менее эффективной и более ограниченной. Гамильтон и Лэнгхорн (Hamilton and Langhorne 1995: 74) показывают, что петровские реформы затрагивали также государственный аппарат. «Была создана новая коллегия иностранных дел, и, в отличие от некоторых других петровских реформ, она пережила период хаоса после его смерти и ко времени вступления на престол Екатерины Великой в 1762 году выросла до 261 члена. Коллегия имела президента, вице-президента и двух советников канцелярии, и в XVIII веке постепенно перестала отвечать за управление внутренними провинциями (и Средней Азией), управление духовными делами, сбор налогов и почту, которая выделилась в отдельный департамент в 1782 году» (ср.: Meissner 1956). В результате уже накануне XIX века «в сравнении с менее крупными и более эффективными министерствами иностранных дел многих других европейских держав, российское министерство имело огромное число чиновников — от самых высокопоставленных до клерков, кодификаторов, переводчиков и переписчиков. Точное число людей, работавших в ней в определенное время, установить почти невозможно, потому что в списках числилось много людей, которые вообще не появлялись на службе или делали это очень редко» (Grimsted 1969: 26).

спустя как *Gründlicher Bericht von Anordnung gutter Polizeien und Regiments: auch Fürsten und Herren standes* (Oestreich 1982: 161, n 15).

- 10 Для понимания степени социализации России необходимо учитывать момент управления, а именно, что противники вестернизации медленно, но верно начали ориентироваться на западные модели и заимствовать у них соответствующие аргументы. Например, объединение русских консерваторов вокруг упорядоченного полицейского государства было объединением вокруг германской модели. Еще одним примером служат доводы в пользу олигархического конституционализма: «В России XVIII столетия значение слова „конституция“ отличалось от значения, которое вкладывало в него реформистское движение в XVIII веке. На самом деле это слово означало политическую систему, предполагающую усиление самодержавия» (Medushevskii 2001: 45).

Во-вторых, в XVIII веке происходило складывание европейских обществ и изменение отношения к ним со стороны государства, которое перешло от прямого правления к косвенному управлению. В это время в Европе возникли либеральные формы управления, пришедшие на смену полицейскому государству, а основным объектом управления вместо территории стало общество. И хотя эта система ослабевала по мере удаления от Британии в восточном направлении, либерализм, понятый как конкретная социальная практика, постепенно набирал силу. В конце концов Россия должна была прийти к пониманию этой перемены. Оценивая правление Екатерины Великой, Брюс Линкольн особенно отмечает, что один из мотивов ее социальной политики состоял в том, что «статус России как великой державы» требовал гражданского мира, что, в свою очередь, требовало более эффективной работы российской администрации. К этому он прибавляет еще один фактор, который заключается в том, что многие молодые российские бюрократы испытали на себе влияние европейской просвещенческой мысли и считали, что Россия должна была соответствовать просвещенческим идеалам управления цивилизованным государством:

Досовременные военные и финансовые затруднения московских царей плохо вязались с образом великой державы, которому стремились соответствовать самодержцы. Конечно, в военном отношении сила России была неоспоримой, но, как великая держава, Россия также должна была проявлять заботу о своих гражданах (Lincoln 1982: 3, 175).

Иными словами, новый этос управления государством предполагал не только установление новых стандартов того, каким должно быть государство, чтобы его можно было считать должным образом устроенным, но и того, каким должно быть государство, чтобы его можно было считать великой державой. Либерализм сформулировал императив, который требовал отказа от прямого контроля государства над обществом не только по соображениям эффективности (создание излишков, способных удовлетворить потребности государства, в том числе и военные), но и по более важным соображениям соответствия новым общеевропейским стандартам правления (необходимость казаться «нормальным»). Принимая во внимание склонность европейской мысли XIX столетия к рассмотрению мировой истории с точки зрения стадий, сменяющих друг друга в заданном порядке и ведущих к одной цели, отсутствие нормальности истолковывалось как отставание в цивилизационном развитии¹¹. Россия отставала во введении того, что счи-

11 Но отметим, что Медушевский утверждает, что петровские реформы, вдохновлявшиеся примером Швеции и других западных государств, «в свою очередь стали образцом или главной моделью реформы для России и некоторых западноевропейских стран в эпоху просвещенного абсолютизма (административные реформы Фридриха Великого в Пруссии, Иосифа II в Австрии, Екатерины Великой в России, попытки реформы Струэнсе в Дании). Однако наиболее влиятельной петровская модель модернизации была на Востоке» (Medushevskii 2001: 46). Подробное сравнение России и Пруссии как полицейских государств см.: Raeff 1983.

талось цивилизованной формой управления, и потому помещалась на более низкую ступень развития¹².

Исходя из моральных критериев, после окончания наполеоновских войн Россия была великой державой *par excellence*. Роль России как великой державы была институционализована в 1815 году в Вене. Тогда для управления системой государств достаточно было быть военным арбитром Европы. Лишь пять держав вправе были иметь чрезвычайных и полномочных послов, и Россия была одной из них. Отметим, однако, что Россия испытывала трудности с поддержанием своего статуса великой державы на протяжении всего «долгого XIX века» (1789-1917), как его определяет Хобсбаум, и что это может объясняться фактором управления. Важнейшим качеством великой державы, согласно Ваттелю, является ее способность противостоять любому объединению других держав, и Россия прошла проверку на соответствие этому статусу после Венского конгресса, когда все остальные державы объединились против нее, создав четырехсторонний союз. В относительном выражении влияние России ослабевало на протяжении всего XIX века. Реализм неспособен объяснить это обстоятельство, но подход, подчеркивающий важность фактора управления, в состоянии это сделать. В основе растущего экономического отставания России от (остальной) Европы лежала система управления.

В моральном прочтении слабость России как великой державы в XIX веке объяснялась бы тем, что после перехода к новому легитимационному принципу, народному суверенитету, Россия продолжала вести арьергардные бои, защищая суверенитет монархический. Такое объяснение, конечно, имеет право на существование. Когда в позициях Британии и Франции произошел сдвиг относительно того, что следует считать конститутивными принципами международного общества, Россия сделала упор на роли Бога и божественного мандата на монархическое правление. В 1815 году Александр I утверждал, что монархов Европы продолжало связывать то, что они были братьями во Христе (Palmer 1974). Предложенный им Священный союз явно и бесспорно вписывался в такой дискурсивный универсум. Но, как свидетельствуют формальные и неформальные реакции на него, подобные доводы утратили не только свою очевидность, но и свою убедительность. Неспособность России сплотить другие великие державы, которые участвовали в Венском конгрессе, вокруг идеи защиты Европы от режимов, основанных на народном суверенитете, показывает, как расхождения относительно принципа легитимности выливались в неспособность к согласованным действиям. В результате постоянно возникали сомнения насчет того, является ли Россия вообще европейской или даже цивилизованной страной. Гримстед (Grimsted 1969: 3) справедливо отмечала, что

В самом начале XIX века Россия в статусе великой европейской державы, обретенном ею благодаря экономическому, социальному и политическому развитию, которому суждено было преобразить европейский

12 Отметим, что мышление в цивилизационных категориях было характерно не только для либерализма, но и для всего XIX века.

континент в течение следующего столетия, еще не была настолько далека от Западной Европы, как это стало очевидно во время Крымской войны в середине столетия.

По мере того, как более либеральный тип управления распространялся внутри стран и между ними и утверждался в качестве «нормального», Россия снова становилась отсталой. В том, что касается управления в межгосударственных отношениях, Венский конгресс ознаменовал собой серьезный прорыв в международном управлении. Он стабилизировал государственные границы между европейскими государствами и изолировал саму Европу от соперничества, происходящего за ее пределами. Подобно тому, как Адам Смит считал определенное политическое устройство необходимым условием для процветания экономик, международное соглашение разграничило определенные области (понятые как ограниченные государствами общества), которыми должны были управлять соответствующие государства. Это изменило значение того, что значило быть великой державой. Как выразился Пол Шредер, общие принципы Европейского концерта «защищали прежде всего права, интересы и равный статус великих держав, но они также требовали от этих держав исполнения определенных обязательств, связанных с этими правами — соблюдения договоров, невмешательства во внутренние дела других государств, готовность участвовать в решениях и действиях Концерта, а также общее соблюдение законности и сдержанность в международных делах» (Schroeder 1986: 12–13). Компенсировать дурное управление территориальной экспансией в Европе становилось все труднее. В XVIII веке три раздела Польши и территориальное расширение России за счет этого, особенно после третьего раздела, укрепили положение России как великой державы. Но в XIX веке имперская политика России в Польше, Финляндии и т.д. уже не только не имела такого эффекта, но и серьезно вредила такому ее положению. Объяснение этого нужно искать во все большем значении, которое придавалось системе управления.

Это обстоятельство, как правило, упускается исследователями реалистического направления, которые часто говорят, что в период от Венского конгресса до Крымской войны (1853–1856) Россия имела не только прочное положение великой державы, но и преобладала в качестве таковой. Например, Уильям Уолфорт (Wohlforth 1999: 21, note 30) утверждает, что действовавший в это время Европейский концерт «основывался на совместной гегемонии России и Британии». Пол Шредер не соглашается с этим, отмечая:

Распространенное представление, будто Россия обладала огромным и растущим влиянием и престижем в Европе до начала Крымской войны, является большим преувеличением. После 1815 года Россия никогда не была арбитром в Европе и не имела доминирующего влияния в Германии, которым какое-то время обладали Екатерина II или Петр I и к которому стремился молодой Александр I (Schroeder 1986: 10).

Суть в том, что растущий разрыв в относительных ресурсах и в принципе легитимности определялся различием в управлении. В основе проблем Рос-

сии со статусом великой державы лежало ее нежелание и неспособность перейти от рациональности прямого правления к рациональности косвенной управительности.

Чтобы ответить на вызов, брошенный стремительно индустриализующимся Западом, Россия, в свою очередь, должна была найти некий способ достижения большей административной эффективности и прививания своим чиновникам среднего и высшего ранга желания поддерживать изменения. Российские бюрократы должны были отвечать нуждам нации, которой они служили, и нужно было найти средства, позволяющие тем немногим, кто был сведущ в сложных социальных и экономических вопросах, получить доступ к участию в процессе разработки царской политики (Lincoln 1982: 6).

В книге Линкольна тщательно прослеживается развитие этого процесса в середине XIX века вплоть до его наивысшей точки — освобождения крепостных в 1861 году — и переход к широкой судебной реформе, источником вдохновения для которой явно служили европейские модели (особ.: Lincoln 1982: 200). В этом отношении особенно интересно, что самодержавный порядок в России накладывал явные ограничения на то, какие шаги могли быть предприняты. Если вся власть в теории происходила от царя, то бюрократия должна была придерживаться принципа прямого контроля сверху. Поэтому российские политики не могли действовать независимо. И они не могли стать выразителями каких-либо интересов общества, помимо интересов самодержца, потому всякое экономическое усиление складывающегося среднего класса не могло найти никакого политического выражения. «В результате как раз тогда, когда новые социально-экономические группы, включавшие средний класс, разрушали власть абсолютизма на Западе, в России происходило его усиление» (Lincoln 1982: 7).

В исторической литературе существует общий консенсус относительно логики и значения этого процесса. С точки зрения отношений государства и общества, проблема состояла в том, что Россия просто не имела социальных агентов, которые должны были служить посредниками между государством и населением в целом. Это означало, что необходимые предпосылки для косвенного правления отсутствовали. Принимая во внимание отсутствие самоуправления среди подданных, решение государства ослабить прямое правление привело бы к анархии. Поэтому шаги к косвенному правлению, которые привели бы к таким изменениям, были исключены. Как говорит Гейер (Geyer 1977: 27–28),

в результате новых установок, навязанных правительству, в период реформ наблюдался первый расцвет политической журналистики в России... Красной нитью во всей этой критике проходило противостояние бюрократическим машинам государства и требование самоуправления и «гласности». Однако не было никакого согласия относительно того, кто должен отвечать за самоуправление в земствах и губерниях: ари-

стократы, «рожденные» для того, чтобы служить посредниками между правителем и его народом? владельцы частной собственности как наиболее почтенная группа граждан? образованные классы как наставники народа и защитники демократических прав?

Государство неспособно было использовать ни одну из этих социальных групп, а значит, ему приходилось опираться исключительно на государственный аппарат. Но в этом аппарате режим вновь сталкивался с элитой, которую нельзя было использовать для косвенного правления. Неспособность режима эффективно использовать свой собственный аппарат означала, что прямое правление также было неэффективным. Используя формулировку Дэйва Алана Рича (Rich 1998: 29), «сконструированный династический миф самодержавия почти не оставлял места государственным профессионалам. Его определяющие тропы не предполагали партнерства с ширящимися рядами специалистов в центральной бюрократии — и разделения с ними власти». В качестве примера Рич приводит русский генеральный штаб. Реакцией военного руководства на реформы 1860-х годов должна была стать профессионализация. Ему прекрасно удавалось планировать операции, но их осуществление оказывалось делом крайне непростым, так как царь и его близкие родственники находились на вершине военной иерархии и всегда могли остановить процесс. Будучи не в силах тягаться с императорской семьей, генеральный штаб попросту сдался. Как говорит Рич (Rich 1998: 19),

гражданские политические лидеры, которые стремились к унификации политики в Совете министров после 1905 года, в конечном счете оказались бессильными перед обычаями замкнутости и верховной властью, перед императором Николаем II, считавшим правительство собственной вотчиной. Профессиональные бюрократы и специалисты, способные в принципе выработать единую позицию кабинета, вместо этого заботились только о вверенной им области, повторив судьбу специалистов российского генерального штаба. В конце концов профессионалы были не потенциальными спасителями самодержавия и империи, а практически гарантами их падения¹³.

Подобно своим предшественникам, Николай работал в соответствии с рациональностью правления, предполагающей, что царь должен быть главой домохозяйства. Этимологически это прослеживается даже в русском слове «государство», означающем владения государя. Нежелание позволить

13 Ср.: Нойманн 2004. Что касается экономической основы великодержавия, среди историков имеются серьезные разногласия касательно XVIII века. Традиционное представление состоит в том, что Россия постоянно отставала. Ревизионисты считают это «мифом» (Bagger 1993: 66), отмечая экономическую модернизацию России и ее активный торговый баланс, а также указывая на то, что внутренняя стагнация началась лишь в 1830-х. Для ревизионистов идеи традиционалистов представляют собой необоснованный перенос несомненной отсталости XIX века на век XVIII. Мы не станем вдаваться здесь в детали этого спора, а просто отметим существование согласия относительно того, что, по меркам XVIII века, другие державы не считали Россию эффективной.

документам суверена значить больше, нежели капризам суверена, то есть нежелание подчиняться закону, означало, что бюрократизация государства в западном духе сдерживалась на самом высоком уровне. После убийства Александра II в 1881 году, его сын и наследник издал указ о чрезвычайных мерах, который предоставил одному ведомству, тайной полиции, свободу действий в отношении подданных суверена. Цукерман приходит к выводу, что «политическая полиция к середине 1880-х годов уже была неподконтрольна регулярной бюрократии». Поскольку эти меры действовали вплоть до Октябрьской революции, Россию в эти годы можно описывать как «полицейское государство», но в совершенно ином смысле, чем тот, в котором европейцы понимали «полицию» в XVI–XVII веках.

Отметим, что бюрократия склонна была делегировать власть *ad hoc* — органам, вроде тайной полиции, а эти органы уже затем игнорировали указания бюрократии, что не только мешало осуществлению ее собственных полномочий, но и снижало эффективность государства. Это можно наблюдать, например, во внутренней борьбе между министерством финансов и министерством внутренних дел по поводу развития рабочего движения. Вплоть до 1903 года, когда был принят закон о старостах, позволявший выбирать представителей рабочих, создание даже какого-то отдаленного подобия профсоюза было незаконным. Новый закон был принят после неудачной попытки Сергея Зубатова, главы московской тайной полиции, создать контролируемые полицией рабочие организации. Макдэниел (McDaniel 1988: 65) отмечает:

Эксперимент Зубатова приблизил российское государство к корпоративистской политике создания и кооптации зависимых организаций, стратегии, которая оказалась довольно успешной с точки зрения властей во многих других странах.

Но в России государство было слишком равнодушным, предприниматели — слишком слабыми, а рабочие — слишком непривычными давать и брать, что составляло необходимые условия для налаживания трудовых отношений в зубатовском эксперименте. И вновь предпосылок для косвенного правления просто не было. Макдэниел указывает, что отказ самодержавия от примирения социальных групп был полностью осознанным. Отметим, однако, что он также видит в этих дебатах импульс к косвенному обучению, ведь одной из причин, почему министерство финансов выступало за закон о старостах, было

максимально возможное ослабление роли полиции на фабриках. Закон изначально предусматривал возможность вызова фабричными инспекторами представителей рабочих и проведение переговоров с ними до вмешательства полиции. Министерство внутренних дел, утверждали они, не относилось с достаточным почтением к этим обязанностям фабричных инспекторов, и, к сожалению, любые беспорядки завершались вмешательством полиции (McDaniel 1988: 90–91).

Конечно, сторонник косвенного правления был либералом (Витте), а министр внутренних дел, выступавший за прямое правление, — консерва-

тором. Консерватор был прав, считая, что косвенное правление подорвет режим, и потому победил в этом споре. Можно сделать вывод, что по крайней мере некоторые российские бюрократы, а также некоторые либеральные политики разделяли взгляд европейцев на причины слабости российского государства. Но они не приходили к тому же — или по крайней мере столь же однозначному — заключению, что Россия не отвечала критериям цивилизованности, чтобы ее можно было считать великой державой.

Нам важно, что из этого анализа можно извлечь выводы, которые и по сей день сохраняют свою аналитическую ценность для понимания различных рациональностей правления и управления в России и других европейских режимах. Рассмотрим, к примеру, прочтение неспособности России к реформированию, предложенное Моше Левиным (Lewin 1987). На протяжении XIX–XX веков, утверждает Левин, российское государство считало, что оно отставало от западных соперников из-за недостаточной производительности своих предприятий. В ответ российское (или советское) государство могло ослабить свой прямой контроль над предприятиями и поощрять их собственную инициативу. Предприятия могли развиваться, и в какой-то момент само их успешное развитие стало бы предъявлять к государству серьезные требования (требование иной системы и степени налогообложения, нового законодательства, участия в принятии решений и т.д.). Государство оказалось бы неспособным удовлетворить эти требования, не изменив всей системы, и в ответ прекратило бы реформы. С точки зрения управительности, этот процесс свидетельствует об отказе государства соглашаться с переходом от логики прямого правления к логике косвенного управления. Обществу не позволено существовать как институциональной и, следовательно, непрозрачной реальностью. С точки зрения Европы, Россия имела устаревшую и неэффективную форму государственной власти, из-за чего она могла казаться какой угодно, только не великой. В результате, как говорит Линкольн,

К 1856 году политические идеологии Запада решительно выступали против тех самых рецептов и институтов самодержавия, которые Александр II поклялся защищать и которые просвещенным бюрократам приходилось поддерживать по необходимости или по убеждениям. Европейцы видели в российском самодержавии воплощение тирании, которую они стремились свергнуть во время революций 1789, 1830 и 1848 годов, а сохранение самодержавия лишь укрепляло у некоторых из них уверенность в том, что притязания России на статус европейской державы совершенно необоснованны (Lincoln 1982: 175).

Возможно, нежелание императорской России, несмотря на давление Запада, перейти к либеральному управлению стоило ей жизни, так как оно обособило режим ото всех социальных групп и ослабило его военную мощь как раз тогда, когда она была нужна острее всего. Споры о том, как следует понимать баланс сил — как баланс способностей или баланс угроз, — переключаются с дебатами о том, как следует оценивать великодержавность — по мате-

риальным или воспринимаемым показателям. Например, Уильям Уолфорт (Wohlforth 1987) показывает, как в десятилетие, приведшее к Первой мировой войне, политиков охватила вера в числа, из-за чего они серьезно переоценили могущество России. Любопытно, что державой, могущество которой было наиболее скромным, являлась сама Россия. Поскольку Уолфорт работает в рамках проблематики порядка, он ограничивается простым указанием на такое несоответствие между мнимым и реальным могуществом¹⁴. Более пристальное внимание к управлению позволяет увидеть, что прекрасное понимание слабости России в этой области объясняет ее сдержанность в общей оценке своей великодержавности. Как показывает сам Уолфорт, именно неспособность иностранных наблюдателей оценить совершенную неважность власти государства над обществом для его международного положения и выживания привела их к ошибочным выводам. Но в самой России ключевые фигуры прекрасно осознавали проблему. Возьмем высказывание великого князя Константина Николаевича о том, что «мы не можем далее себя обманывать и должны сказать, что мы и слабее и беднее первостепенных держав и что при том беднее не только материальными способами, но и силами умственными, особенно в деле администрации». Великий князь не заметил только того, что именно наличие таких людей, как он сам, наверху государства лишало царскую Россию возможности соответствовать административным системам «первостепенных держав».

Когда в последние месяцы своего правления император обратился к послам союзных держав, представлявших наиболее либеральные государства в системе, все они призвали его расширить опору правительства на народ. Однако он решительно отказался пойти на это. После короткого социалистического междуцарствия установился коммунистический режим. С точки зрения ресурсной базы, советское государство вскоре достигло того же уровня ресурсов, которыми некогда обладала царская Россия. Реалисты могут объяснить это советской незаинтересованностью в управлении системой, а последователи Дюркгейма — указанием на иной принцип легитимности, на который опирались коммунисты. Точно так же они могут предложить дополнительные объяснения того, как Советский Союз вернул себе статус великой державы, победив во Второй мировой войне. Но как можно объяснить сохраняющуюся важность преставления западных лидеров, вроде Уинстона Черчилля, о том, что российские лидеры были варварами, и соответствующее ощущение неловкости, испытываемое советски-

14 Он приводит пример того, как Николай II прекратил дебаты в генеральном штабе о военной доктрине в 1912 году словами «военная доктрина заключается в том, чтобы делать все, что я прикажу» (цит. по: Rich 1998: 221). Рич также отмечает, что военные неспособны были «управлять удаленно», что составляет еще одну определяющую черту управительности: «Военные стратеги, как и их коллеги во всей государственной структуре, постоянно оказывались в зависимости от подчиненных в провинциях в том, что касалось продолжения их работы. Достижения немногих военных, научных и технических специалистов показывают ограниченность базы российской империи для рационализации и регуляризации» (Rich 1998: 17).

ми лидерами перед теми, кого они в какой-то степени явно считали своими гораздо более культурными коллегами? Возьмем пример из периода, во время которого Советский Союз, с точки зрения реалистов, играл роль одной из двух мировых сверхдержав. В своих мемуарах Никита Хрущев сравнивал себя с героиней популярной в 1930-х годах пьесы «Любовь Яровая», где маленькая Дунька совершает путешествие в Европу: выражение «как Дунька в Европе» перешло в повседневную речь и означает нечто вроде «как деревенщина в большом городе». Хрущев писал:

Выезд Дуньки в Европу оказался успешным, с демонстрацией того, что мы ориентируемся в международных делах и без сталинских указаний. Если образно говорить, то мы в своей международной политике сменили детские штанишки на брюки взрослых людей... Мы ощутили свою силу (Хрущев 1993: 78).

Может, это и так, но как объяснить очевидную неуверенность лидера государства, которое считало себя и воспринималось другими державами в системе как обладатель военной мощи великой державы? Соответствие критерию наличия достаточной экономической силы для поддержания военной мощи, значительной в относительном выражении, кажется необходимым, но недостаточным условием великодержавности. От великого князя Константина до Хрущева и далее мы видим неизменный российский страх показаться хуже (других) европейских держав. И начиная с конца 1980-х сами постсоветские лидеры начали описывать первопричину своей неловкости перед Западом в цивилизационных терминах. Одним из ключевых лозунгов перестроечного периода было «возвращение в лоно цивилизации», лозунг, который означал, что советский путь каким-то образом отвел от нее русских (Neumann 2005). С падением коммунизма в последующие десять-пятнадцать лет официальное российское самопонимание советского прошлого пришло к обвинению неправильной системы правления в отставании от того, что часто называли цивилизованным миром. Произошел осторожный поворот к европейским либеральным моделям управления. В этот период об отсталости России нередко говорили сами российские лидеры.

В XVIII–XIX веках российская элита усвоила множество европейских социальных практик (формы брака, военное искусство, дипломатия) и принимала участие в управлении системой государств в форме, которая явно ассоциировалась с великими державами (наличие полномочных послов, выступление в качестве державы-гаранта, участие в конференциях, получение *droit de regard*). И все же в европейских столицах — и в какой-то степени в самой России — сохранялись сомнения насчет ее великодержавности. Реалисты, которые понимали под великодержавностью наличие и способность использования материальной и особенно военной мощи, могут объяснить, почему Россию признавали великой державой, но не то, почему сохранялись сомнения насчет ее статуса. Моральное объяснение, которое учитывает интерсубъективный аспект и подчеркивает важность соблюдения великой державой соответствующих норм, отчасти может объяснить сомнения.

Но оно не может объяснить сохранение сомнений в те периоды, когда Россия соблюдала международные нормы. На мой взгляд, объяснение, придающее особое значение вопросам управления и, следовательно, типам режима и их восприятию другими державами, способно это сделать. Как уже было сказано во введении, хотя это прочтение является чем-то новым для социальной теории и международных отношений, неотрефлексированный прообраз этого подхода содержится в работах специалистов по истории России¹⁵. Взять, например, замечания Брюса Линкольна, что единственная причина обращения Екатерины Великой к социальной политике состояла в том, что статус великой державы требовал установления гражданского мира и «демонстрации надлежащей заботы о своих гражданах» (Lincoln 1982: 3, 175).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С приходом к власти Владимира Путина в 2000 году официальным российским курсом по-прежнему оставалось великодержавие, но теперь дополненное стремлением к признанию с точки зрения демократии и рыночной экономики. Внешне это похоже на либеральную модель. Но так обстоит дело только на поверхности. В работе 1905 года о российских реформах Вебер назвал новую систему правления *Scheinkonstitutionalismus* — поддельным конституционализмом. Использование Путиным либеральных лозунгов, вроде верховенства права и т. д., несерьезны и лишены практического смысла. Так, Вячеслав Морозов пишет:

Когда либеральные реформы системы социальной защиты потерпели провал, правительство сделало выбор в пользу патерналистских решений, вроде мер, направленных на повышение уровня рождаемости, показывая тем самым, что сильное государство лучше способно защищать простых людей. Во внешней политике стала преобладать идея утверждения России в качестве сильного и независимого игрока на глобальной арене — здесь, как и во внутренней политике, автономия стала самоцелью (Morozov 2007: 18).

Идеи правительства, выраженные в лозунгах вроде управляемой демократии, суверенной демократии и т. д., основывались на представлении, что сильное государство может служить гарантией системы управления. Проблема в том, что модель управления, за осуществление которой взялась

15 Уолфорт позднее пришел к признанию экстраординарных факторов. В примечании к статье о положении Соединенных Штатов как великой державы он пишет: «Я уделяю внимание преимущественно материальным элементам силы, потому что нынешние научные споры требуют проведения четкого различия между идеями и материальными силами» (Wohlforth 1999: 7, п 10). Любопытно, что анализ с точки зрения управительности, который отказывается проводить различие между материальными и идеальными факторами, во многом приходит к тем же выводам касательно нынешних Соединенных Штатов, что и Уолфорт.

Россия, полностью противоречит основной цели либерализма, которая предполагает как можно меньшее участие государства в управлении. Представления Путина о том, что должно делать государство, полностью противоположны либеральным. В соответствии с ними, российское государство должно править прямо и в лоб, а не косвенно и со стороны. С этой точки зрения, общество представляет собой что-то, чем нужно управлять, а не что-то, чему нужно предоставить определенную свободу действий. Право здесь является инструментом исполнительной власти, а не средством ее сдерживания, а права человека гарантируются государством, а не принадлежат людям просто в силу того, что они являются людьми. Это значит, что Россия вновь развивает рациональность правительства, которая имеет свои прецеденты в Западной Европе, но которую, во время принятия ее в России, сами западноевропейские государства давно уже оставили в прошлом. Российское государство вновь делает выбор в пользу прямого правления.

В XIX веке после Великой французской революции и наполеоновских войн Россия также столкнулась с дилеммой – пойти ей по пути Запада, предоставив обществу большую свободу и управляя косвенными средствами, или же проводить свою собственную политику прямого правления. Она решила сохранить *ancien régime*, тогда как остальные европейские державы пошли по пути модернизации. В XX веке после Первой мировой войны Россия вновь пошла по иному пути, нежели остальные европейские державы, приступив к строительству социалистического будущего, в то время как остальные продолжали держаться за свое буржуазное настоящее. В XXI веке Европа встала на путь интеграции. Если Россия хочет повторить этот путь, ей нужно придерживаться своего суверенного настоящего, в то время как остальные будут двигаться дальше. Проблема, однако, в том, что это, несомненно, создаст множество сложностей, связанных с несовместимостью. Проблема признания России в качестве великой державы является социальной. В ее основе лежит вопрос отношений между государством и обществом. С точки зрения Европы, отношения между государством и обществом у великой державы не должны отличаться от отношений, которые в настоящее время преобладают в европейской политике. В конечном счете для обретения и поддержания статуса великой державы нужна социальная совместимость. Когда Наталья Нарочницкая, этот глашатай путинской России, утверждает, что «Европа, построив „рай на земле“, так и не избавилась от неуверенности перед нашей огромностью, способностью выстаивать в испытаниях», она очень точно излагает проблему. И чтобы быть признанной в качестве великой державы, мало просто показывать то, что Россия сама считает «силой» (цит. по: Prozofov 2006: 42)¹⁶. Необходимо показывать силу, мощь, которую считают таковой признанные великие державы. Если это именно то, что необходимо для того, чтобы быть признанной в качестве великой державы, то Россия при Путине вела неверную игру.

16 См.: Malia 1999, Mosse 1996 и Хоскинг 2003.

В современной России социальные различия, исторически существовавшие между западноевропейскими державами и Россией, и различия в системе управления по-прежнему сохраняются. Речь идет о собственности, свободе контракта, судебных и уголовных практиках, здравоохранении и целом спектре других практик. Словом, если, как я утверждаю, статус великой державы зависит не только от наличия материальных ресурсов и способности использовать военную мощь, то сегодняшняя Россия вновь выбрала курс, который помешает осуществлению ее стремления получить признание в качестве великой державы наряду с ведущими европейскими державами и — что еще более важно с точки зрения силы — Соединенными Штатами. Дело не только в материальной базе России (российский ВВП оставляет одну тридцатую американского, менее половины британского и треть германского), так как членство России в «большой восьмерке» — это лишь знак вежливости. Положение России в качестве одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — еще одно формальное институциональное перо в шляпе России, но оно не может возместить нехватку социальной базы для признания ее великой державой. Неспособность осуществления власти в той степени, чтобы удовлетворить реалистов, вместе с нежеланием играть по моральным правилам, установленным великими державами и нежеланием менять государство, чтобы приблизиться к рациональности управления косвенными средствами, препятствует получению признания со стороны других государств, которого она всеми силами стремится достичь. Сама политика, используемая для того, чтобы «снова сделать Россию сильной», основывается на неполном и устаревшем понимании силы. В мире, где либеральный стандарт цивилизации, игравший такую важную роль в международных отношениях XIX века, вновь набирает силу, Россия еще очень долгое время не будет считаться полноценной великой державой.

Перевод с английского Артема Смирнова

ЛИТЕРАТУРА

- Нойманн, Ивэр (2004) Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство.
- Фуко, Мишель (2005) Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2. М.: Праксис.
- Хоскинг, Джеффри (2003) Россия и русские. Кн. 1, 2. М.: АСТ, Транзиткнига.
- Хрущев, Никита (1993) «Мемуары», Вопросы истории (8).
- Элиас, Норберт (2001) О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1, 2. М., СПб.: Университетская книга.
- Bagger, Hans (1993) «The Role of the Baltic in Russian Foreign Policy», in Hugh Ragsdale, ed., Imperial Russian Foreign Policy, 36–72, Cambridge, NY: Cambridge University Press.
- Durkheim, Emile (1950/1992) Professional Ethics and Civic Morals, London: Routledge.
- Foucault, Michel (2007) Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978, Houndmills: Palgrave.
- Geyer, Dietrich (1987) Russian Imperialism: The Interaction of Domestic and Foreign Policy, 1860–1914, Oxford: Berg.

- Gleason, John Howes (1951) *The Genesis of Russophobia in Great Britain: A Study of The Interaction of Policy and Opinion*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gong, Gerrit W. (1984) *The Standard of 'Civilization' in International Society*, Oxford: Oxford University Press.
- Grimsted, Patricia Kennedy (1969) *The Foreign Ministers of Alexander I: Political Attitudes and the Conduct of Russian Diplomacy 1801–1825*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Groh, Dieter (1961) *Russland und das Selbstverständnis Europas: Ein Beitrag zur Europäischen Geistesgeschichte*, Neuwied: Hermann Luchterhand.
- Hamilton, Keith and Richard Langhorne (1995) *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration*, London: Routledge.
- Horn, David Bayne (1945) *British Public Opinion and the Partition of Poland*, Edinburgh: Oliver and Boyd.
- Lewin, Moshe (1989) *The Gorbachev Phenomenon: A Historical Interpretation*, London: Radius.
- Lieven, D. C. B. (1983) *Russia and the Origins of the First World War*, Houndmills: Macmillan.
- Lincoln, W. Bruce (1982) *In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats, 1825–1861*, DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.
- Malia, Martin (1999) *Russia Under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- McDaniel, Tim (1988) *Autocracy, Capitalism, and Revolution in Russia*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Medushevskii, Andres (2001) «Administrative Reforms in the Russian Empire: Western Models and Russian Implementation», in Lindsay Hughes, ed., *Peter the Great and the West*, 39–50, London: Palgrave.
- Meissner, Boris (1956) «Die zaristische diplomatie, A. Der Gesandtschafts-Prikaz (Posolskij Prikaz)», *Jahrbucher für Geschichte Osteuropas*, Neue Folge 4: 237–45.
- Morozov, Viatcheslav (2007) «Russia and the West: Dividing Europe, Constructing Each Other», paper presented at the annual conference of the International Studies Association, Chicago, IL, 28 February—3 March 2007.
- Mosse, Werwer E. (1996) *An Economic History of Russia 1856–1914*, London: I. B. Tauris.
- Neumann, Iver B. (1997) *Uses of the Other: «The East» in European Identity Formation*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Neumann, Iver B. (2005) «Russia as a Great Power», in Jakob Hedenskog, Vilhelm Konnander, Bertil Nygren, Ingmar Oldberg and Christer Pursiainen, eds, *Russia as a Great Power: Dimensions of Security Under Putin*, London: Routledge.
- Neumann, Iver B. (2007, forthcoming) «Russia's Quest for Recognition as a Great Power, 1489–1815», in Theodore Hopf, ed., *Russia's European Choices*, Houndmills: Palgrave.
- Oestreich, Gerhard (1982) in H. G. Koenigsberger and Brigitta Oestreich, eds, *Neostoicism and the Early Modern State*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Oikonomides, Nicolas (1992) «Byzantine Diplomacy, A. D. 1204–1453: Means and Ends», in Jonathan Shepard and Simon Franklin, eds, *Byzantine Diplomacy: Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies*, Cambridge, March 1990, 73–88, Aldershot: Variorum.
- Palmer, Alan (1974) *Alexander I: Tsar of War and Peace*, London: Weidenfeld & Nicolson.
- Poe, Marshall T. (2000) «A People Born to Slavery»: *Russia in Early European Ethnography, 1476–1748*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Prozorov, Sergei (2006) *Understanding Conflict between Russia and the EU: The Limits of Integration*, Houndmills: Palgrave.
- Raeff, Marc (1983) *The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change Through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800*, Ithaca, NY: Yale University Press.
- Rich, Dave Alan (1998) *The Tsar's Colonels: Professionalism, Strategy, and Subversion in Late Imperial Russia*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Samuelsson, Kurt (1968) *From Great Power to Welfare State: 300 Years of Swedish Development*, London: Allen & Unwin.
- Schroeder, Paul W. (1986) «The 19th-Century International System: Changes in the Structure», *World Politics* 34 (1): 1–26.
- Weber, Max (1921/1976) *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie*. Studienausgabe, fifth ed., Tübingen: J. C. B. Mohr.

Weber, Max ([1948] 1991) *From Max Weber: Essays in Sociology*, London: Routledge.

Westlake, John (1914) *The Collected Papers of John Westlake on Public International Law*, Oppenheim, Lassa, ed., Cambridge: Cambridge University Press.

Wohlforth, William C. (1987) «The Perception of Power: Russia in the Pre-1914 Balance», *World Politics* 34 (3): 353–81.

Wohlforth, William C. (1999) «The Stability of a Unipolar World», *International Security* 24 (1): 5–41.

Zuckerman, Frederic S. (1996) *The Tsarist Secret Police in Russian Society, 1880–1917*, London: Macmillan.